

*Посвящение:
Хорхе*

Я часто говорил: я пыль; или: я ветер.
И в молодости это принимал. Но все не так
на самом деле.
Я пыли вдоволь повидал, с ветром
не раз встречался
И понял, что я лишь легкий вдох,
необходимый,
Чтобы продержаться столько, сколько требует
сердечное желание,
И что даже это не удастся.

Ларри Ливис

ГЛОРИЯ

Занимается воскресное утро над нефтеносным участком, несколько минут до зари; отморозок крепко спит в своем пикапе. Плечами к двери водителя, сапоги — на приборной доске, ковбойская шляпа надвинута на нос, и девушке, сидящей снаружи на пыльной земле, виден только его белый подбородок. Конопатый, почти безволосый, он и в зрелые годы обойдется без ежедневного бритья, но она надеется, что он умрет молодым.

Глория Рамирес совсем неподвижна — мескитовая ветка, вросший в землю камень, — представляет себе, как он лежит ничком в пыли, губы и щеки ободраны песком, только кровь во рту облегчит ему жажду. Он дернулся, спиной проехался по двери, она, перестав дышать, смотрит, как он сжимает челюсти и вылезает желвак. Смотреть на него — пытка, и она опять желает ему смерти скорой и мучительной, одинокой, чтобы никто о нем не пожалел.

Небо на востоке стало фиолетовым, потом иссиня-черным, аспидным. Через несколько минут оно окрасится оранжевым и красным, и если поглядеть туда, Глория увидит землю, туго натянутую под небом, ко-

ричевая пристрочена к синему, как всегда. Это небо без конца, самое лучшее, что есть в западном Техасе, если вспомнишь поглядеть на него. Она будет скупать по нему, когда уедет. Потому что ей нельзя здесь оставаться — после этого.

Она не сводит глаз с пикапа, и её пальцы потихоньку зарываются в песок, считает: один, два, три, четыре — они пытаются удержать её от резких движений, пытаются её успокоить, удержать в живых еще на день. Потому что Глория Рамирес пусть и не много понимает этим утром пятнадцатого февраля 1976 года, но понимает вот что: если бы он не задрях до того, как протрезвел настолько, чтобы найти свой пистолет или взять её за горло, быть бы ей сейчас мертвой. Пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре... она выжидает и смотрит, слышит, как неизвестный зверек пробирается в кустах мескита, а солнце, поденная мелкая милостыня, выкатывается из-под края земли и, повиснув, жарит с востока.

Освещаются мили и мили качалок, мусор нефтяных промыслов, заборы из колючей проволоки, мескитные заросли, зайцы, бизонова трава. В кучах кальцита и штабелях старых труб лежат, свернувшись, полозы, мокассиновые и гремучие змеи, дышат медленно, ждут весны. Когда разгорелось утро, она видит дорогу и вдалеке — фермерский дом. Он может быть близко, пешком дойти, но определить трудно. Здесь миля может показаться десятью, десять — двадцатью, и она одно знает: это тело — вчера она сказала бы «мое» — сидит на куче песка на нефтеносном участке, так далеко от города, что не видно ни водонапорной башни с названием её города «Одесса» на баке, ни

здания банка, ни градирен нефтехимического завода, где работает её мать. Скоро Альма придет с ночной работы — уборки в кабинетах и рабочих столовках. Когда войдет в их квартиру с одной спальней, пахнущую вчерашней маисовой кашей, свиной и сигаретами дяди, и увидит, что диван Глории так и застелен со вчерашнего дня, Альма может забеспокоиться или даже испугаться немного, но, главное, разозлится, что дочь опять где-то пропадает.

Глория окидывает взглядом поле качалок, громадных стальных кузнечиков, вечно голодных. Завез он её в Пенуэлл? В Ментон? В округ Лавинг? Потому что пермский бассейн занимает восемьдесят тысяч квадратных миль одного и того же, одного и того же, и она может быть где угодно, и единственное, что достоверно, это её жажда и боль, вздохи гада, который возится во сне, стискивая зубы, гудение и стуки качалки в нескольких десятках шагов от неё.

Куропатка объявляет о себе, её голос мягко раскупоривает утро. Глория снова смотрит на фермерский дом. Грунтовая дорога пересекает пустыню надвое, прямой линией тянется к веранде дома — так уже видится Глории. Может быть, дом близко, пешком дойти, может быть, дверь ей откроет женщина.

Он не шевелится, и когда пальцы вминают в песок последнее число — робкую тысячу, Глория поворачивает голову, медленно, налево и направо, понимает, что жива до сих пор благодаря еще и молчанию, и, не называя вслух, рассматривает части своего тела. Вот рука. Рука и ступня. Кости ступни прикреплены к пяточной кости, пяточная кость — к лодыжке. А там, на земле, ближе к деревянной буровой платформе, её

сердце. Она поворачивает голову туда и сюда, осматривает тело, прикрывает его одеждой, рваной и раскиданной по земле, словно это ненужный мусор, а не её любимая черная футболка, синие джинсы, подаренные матерью на Рождество, и парные лифчик с трусами, которые она украла в «Сирсе».

Знает, что не надо, но перед уходом все-таки оглядывается на скота. Из-под ковбойской фетровой шляпы выбиваются прядки светлых волос. Тощий и жилистый, он всего несколькими годами старше Глории, а ей осенью исполнится пятнадцать, если переживет этот день. Грудь его мерно поднимается и опускается, как у всякого, но в остальном он неподвижен. Еще спит — или притворяется.

Ум Глории запутывается в этой мысли, как лошадь — в незаметном мотке колючей проволоки. Она раскрывает рот, потом он сам захлопывается. Ей не хватает кислорода, дышит тяжело, как рыба, выдернутая из озера. Ей представляется, как её оторванные руки и ноги уносятся в пустыню и там их обглаживают койоты, перекликавшиеся всю ночь. Ей представляется, как эти кости выглажены, выбелены ветром — пустыня усеяна такими — лежат там, и хочется закричать, разинуть рот, завывать. Но она сглатывает, снова садится на песок и зажмуривается, чтобы не видеть скота и солнце, затопившее светом необъятное небо.

Нельзя паниковать. Ничего нет хуже паники, говорил её дядя. Когда он рассказывает о войне — а с тех пор, как вернулся в прошлом году, только о ней и рассказывает, и все рассказы начинаются одинаково. Знаешь, Глория, как называют солдата, который запаниковал? «Убит в бою» — вот как. И заканчивает все

рассказы так же. Слышишь, военный человек никогда не паникует. И ты никогда не паникуй, Глория. Запаникуешь и — он делает из указательного пальца пистолет, приставляет к сердцу и нажимает на спуск — бах. А она если что и понимает этим утром, то одно: она не хочет умирать. Прижимает кулаки ко рту и велит себе встать. Постарайся без шума. Иди.

И тогда Глория Рамирес — теперь её имя годами будет витать, как рой ос, над головами местных девушек, — предостережением, чего нельзя делать, ни в коем случае нельзя, — Глория встает. Вспомнив о кедах, не идет ни за ними, ни за кроличьим жакетом, в котором была вчера вечером, когда на парковку в «Соник» въехал молодой человек — рука свесилась за окно, редкие веснушки и золотые волосы поблескивают под флуоресцентными лампами придорожного кафе.

Эй, ты, Валентинка. Слова прозвучали противно, с растяжкой — слышно было, что не местный, но и не из дальних краев. Язык у Глории сделался сухим, как палочка мела. Она стояла рядом с единственным столом, деревянным и шатким, среди легковых машин и грузовичков, и занималась тем, чем всегда занималась субботними вечерами. Болталась, пила лимонад, стреляла сигареты, ждала, когда что-нибудь произойдет, но ничего не происходило в этом зачуханном городке.

Он стоял близко, даже за ветровым стеклом видно было нефтяное пятно у него на лице. Щеки и шея обветренные, на пальцах черная грязь. На приборной доске карты и накладные, на крючке над сиденьем висела каска. В кузове валялись помятые банки из-под пива, монтировки, бутылки с водой. Картина как раз

такая, насчет которой Глорию предостерегали всю жизнь. А сейчас он назвался — Дейл Стрикленд — и спрашивал, как её звать.

Не твое собачье дело, сказала она.

Слова выскочили необдуманно — выдадут в ней девчонку, а не суровую молодую женщину, какой ей хочется быть. Он высунулся из окна сильнее и смотрел на неё, как щенок — глаза воспаленные, в черных кругах. То голубые, то белесые, то сланцевые, смотря по тому, как падает свет. Цвет, как у стеклянного шарика, который упрямо хранишь, — или как у Мексиканского залива. Хотя ей не отличить Тихого океана от бизоньей лужи — вот в чем беда-то. Нигде она не была, не видела ничего, кроме этого города и здешних людей. А может, с него начнется что-то интересное. Если подружатся, может, отвезет её через несколько месяцев в Корпус-Кристи или в Галвестон, и она своими глазами увидит океан. И назвала ему свое имя. Глория.

Он засмеялся и прибавил громкость у радио — какое совпадение: радиостанция техникума передает Патти Смит, поет «Глорию». Слышишь? — он сказал. — И ты тут как тут. Это судьба, дорогая.

Это хрень, дорогой, сказала она. Они заводят эту пластинку каждые два часа с прошлой осени.

Она сама пела её несколько месяцев и ждала, когда начнут играть альбом «Horses», наслаждаясь припадками матери всякий раз, когда пела «Иисус умер за чьи-то грехи, не за мои». Когда Альма грозила потащить её на мессу, Глория смеялась. С двенадцати лет не была в церкви. Она сложила кулак, поднесла ко рту, как микрофон, и пела эту строчку раз за разом, покуда Альма не захлопнула за собой дверь ванной.

В этот Валентинов вечер в «Сонике» было глухо, как в могиле. Никого и ничего — все та же тощая замотанная официантка, пришедшая прямо с дневной работы и старавшаяся не замечать парочку престарелых нарушителей, подливающих виски в бумажные стаканы с «Доктором Пеппером»; девица класса на два старше Глории сидела на табурете за стойкой, щелкала выключателем и повторяла заказы — слова её сжевывали громкоговорители; повар время от времени отходил от гриля, стоял снаружи и курил, глядя на машины, курсирующие по дороге. Высокая старая дама с широкими плечами вышла из туалета, захлопнула за собой дверь, вытерла ладони о штаны и зашагала к пикапу, где сидел мужчина еще старше её, тощий как жердь, лысый как яйцо, и наблюдал за Глорией.

Когда женщина села с ним рядом, он показал на девушку и что-то стал говорить — голова его чуть покачивалась взад-вперед. Женщина тоже кивала, но когда он высунулся в окно, она схватила его за локоть и помотала головой. Глория прислонилась к деревянному столу, засунула руки в карманы своего нового жакета и поглядывала то на старую чету, то на молодого человека, который вывесил руку за окно и постукивал пальцами по двери. Глория наблюдала за тем, как препираются старики в кабине, и когда они опять посмотрели на неё, она вынула руку из кармана. Медленно-медленно распрямила средний палец и показала им. Идите в жопу, сказала она беззвучно, вместе с вашим драндулетом.

Она снова окинула взглядом «Соник» и пожала плечами — терять нечего, что-нибудь, да обломит-